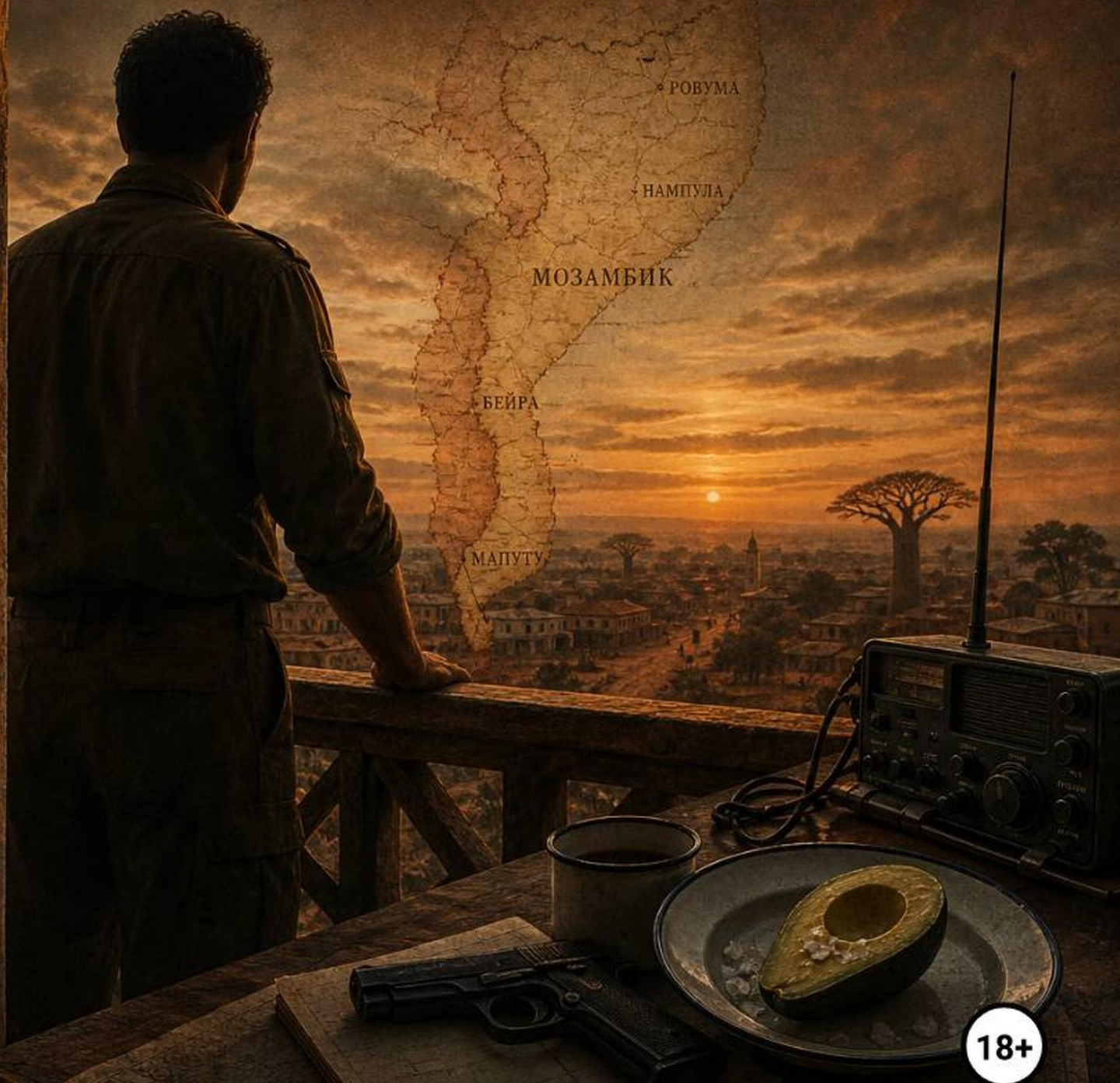


Do Rovuma ao Maritimo

Записки военного переводчика
в Мозамбике



Андрей Дехтярев

18+

Андрей Дехтярев

**Do Rovima ao Marito.
Записки военного
переводчика в Мозамбике**

«Автор»

2026

Дехтярев А.

Do Rovuma ao Maruto. Записки военного переводчика в
Мозамбике / А. Дехтярев — «Автор», 2026

Книга представляет собой художественно-документальные записки военного переводчика португальского языка, служившего в Мозамбике в 1987–1988 годах, в период гражданской войны. В центре повествования — столкновение советского человека с африканской военной, социальной и языковой реальностью, а также опыт переводчика, через которого проходят страх, бедность, идеология, абсурд войны и человеческие чувства.

© Дехтярев А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Дисклеймер	6
Почти одинаковые языки	14
Зеленая, зеленая трава. Для козы на аэродроме	22
Червоточина длинной в жизнь	24
Осколки былой роскоши	27
Папайя в контексте международного культурного обмена	29
Мотострелковый взвод в зимнем лесу	31
Сауна – Фауна	33
Алюминиевые огурцы на брезентовом поле	35
На их хрупких плечах держится мир	37
Весь этот джаз	39
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Андрей Дехтярев

Do Rovuma ao Maputo. Записки военного переводчика в Мозамбике

Дехтярёв А. В.

Do Rovuma ao Maputo.

Записки военного переводчика в Мозамбике

Дехтярёв, А. В. Do Rovuma ao Maputo. Записки военного переводчика в Мозамбике / А. В. Дехтярёв. — Сан-Паулу : Brazilsoft, 2026. — 160 с. — ISBN 978-65-XXX-XXXX-X.
УДК 821.161.1-94:355.40(679)

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Д39

Дехтярёв, А. В.

Do Rovuma ao Maputo. Записки военного переводчика в Мозамбике : художественно-документальная проза / А. В. Дехтярёв. — Сан-Паулу : Brazilsoft, 2026. — 160 с.
ISBN 978-65-XXX-XXXX-X

Книга представляет собой художественно-документальные записки военного переводчика португальского языка, служившего в Мозамбике в 1987–1988 годах, в период гражданской войны. В центре повествования — столкновение советского человека с африканской военной, социальной и языковой реальностью, а также опыт переводчика, через которого проходят страх, бедность, идеология, абсурд войны и человеческие чувства.

Для широкого круга читателей, интересующихся военной прозой, историей Мозамбика, советским присутствием в Африке, португальским языком и судьбой человека на границе культур.

Дисклеймер

-You are Just A Figment Of My Imagination
«Men In Black»

Все, кто узнал себя в этой книге, ошибаются. Вне зависимости от того, что они об этом вопросе думают.

Все совпадения с реальными людьми, живыми, умершими, пропавшими без вести, уехавшими в Мапуту или в Москву, оставшимися в Лишинге, служившими в Четвертой Пограничной бригаде в провинции Ньяса, носившими погоны, халаты, капуланы, белые перчатки или дырявые поло, являются не только случайными, но и несуществующими в природе. Даже этих детей, выступающих перед балконом моей квартиры, скорее всего уже нет, принимая во внимание, что средняя продолжительность жизни в то время в стране была около 30 лет.



Описанные события происходили давно, далеко и в условиях, где даже официальные документы иногда выглядели странновато и содержали слова типа «крокодил». Тем более, бумажный ежедневник с записями был изъят из моей квартиры и, очевидно, уничтожен каким-то лицом, имевшим к ней доступ. Таких лиц было ... - одно. Память же — инструмент ненадёжный и вообще малопонятно до сих пор, как он работает, хотя в данном случае все события отпечатались в мозгу с эйдетической четкостью и на самом деле ежедневник с записями не нужен и его изымали зря.

Эта книга не является историческим расследованием, служебным отчётом, обвинительным заключением, медицинской справкой, партийной характеристикой или руководством по выживанию. Это художественно-документальная попытка положить на жесткий диск то, что

само не хочет забываться. Так что, если кто-то всё-таки узнал себя, других или начальство, прошу перечитать первую фразу. Возможно, вас там вообще не было. А если были — простите, не в реальности моей матрицы. Хотя вот эти люди были со мной, подтверждаю реальность каждого.



Оглавление
Дисклеймер
Вступление
Почти одинаковые языки
Самолёт Москва — Аден — Мапуту
А что, Лишингу ещё не взяли?
Зеленая, зеленая трава. Для козы на аэродроме
Червоточина длинной в жизнь
Осколки былой роскоши
Папайя в контексте международного культурного обмена
Мотострелковый взвод в зимнем лесу
Сауна - Фауна
Алюминиевые огурцы на брезентовом поле
На их хрупких плечах держится мир
Весь этот джаз
Курица, как средство для переговоров с африканскими духами
Джентльмены не портят виски льдом
Человек с машамбы
Товарищ майор, а почему у тебя такие большие зубы?
Нарисуй себе партийный билет
Абсолютно неправильные глаголы
Кто пилил дверь в ночи?

Военная теория относительности или кто кого охранял
Черной-черной ночью в черной-черной Африке
Обмылки
Чудеса термодинамики
Подмосковье со сколопендрой
Съедено крокодилами
Если ещё найдёте
Экологически чистое мышление
Лев на пороге
Инициация
Продолжение банкета
Ее Высочество Катчулима в 3-х частях
1. Высокие технологии
2. Бар первого мира
3. Родничок
Идеологическая диверсия
Рыбалка у виллы Саморы
Подсвинок
L85A1 - Не гонись за красотой
Контрольный выстрел
Международная панорама
Ща-Вам-Не-Ша
Консул, эвакуация и политические оттенки примуса
Приём по учебнику дипломатического протокола
Пир во время чумы
Сын полка
Chumbo – свинец
Львы на артиллерийской позиции
Зажёванная плёнка
Кони привередливые на Антильских островах
Амулет по ту стороны объективной реальности, данной нам в ощущениях
Заключение. Авокадо с крупной солью
Вступление
Der Krieg ist eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln.

Carl von Clausewitz, Vom Kriege

«Война есть лишь продолжение политики иными средствами».

Карл фон Клаузевиц, «О войне»

От наших коллег добиться информации о том, что реально происходило в Мозамбике в конце 80-х годов 20 века, очень сложно. Везде стоит классификация: «Секретно, перед прочтением съесть!» (эта надпись была даже на правилах по проведению чемпионата по преферансу в Лишинге, отработанная и прошитая по полному циклу штабной культуры). Пришлось обратиться за разъяснениями к вражеским голосам в виде справки ЦРУ¹.

¹ : Central Intelligence Agency. *Soviet Prospects in Mozambique: declassified intelligence report / Directorate of Intelligence, Office of African and Latin American Analysis.* — 1985. — CIA-RDP85T01058R000507480001-2. — CIA Reading Room.

Кто хочет деталей, может пойти читальную комнату ЦРУ и проверить самому. Кто не хочет - даю краткое изложение, чтобы понимали контекст эпохи.

В справке ЦРУ Мозамбик рассматривался как одна из важных точек советского влияния в Южной Африке. Главная мысль документа: Москва пыталась оживить и усилить своё присутствие в стране, но её возможности были ограничены слабостью режима ФРЕЛИМО, гражданской войной, экономической разрухой и зависимостью Мапуту от внешней помощи.

ЦРУ видело Мозамбик не изолированно, а как часть южноафриканского узла: ЮАР, Малави, Зимбабве, Танзания, Ангола, советско-кубинское влияние, партизанские войны, порты, коммуникации и баланс сил в регионе. В близких по теме справках ЦРУ прямо формулировало, что Южная Африка была для СССР зоной большого потенциала, где Москва могла использовать конфликты и нестабильность в своих интересах.

В документе подчёркивались периодические визиты советских самолётов Ил-38, (Прим. автора: Ил-38 — это не транспортник, а морской патрульный и противолодочный самолёт, созданный на базе Ил-18); сам факт их патрулирования важен как признак советского военно-морского интереса к мозамбикскому побережью и Индийскому океану. В то же время поставки вооружений указывали на попытку СССР активизировать свои позиции в Мозамбике.

По оценке ЦРУ, СССР не «списал» Мозамбик даже после сепаратных соглашений Мапуту с ЮАР и сохранял намерение продолжать военную и ограниченную экономическую помощь. Это важно: американцы видели советскую помощь не как романтическую «дружбу народов», а как инструмент удержания режима ФРЕЛИМО в советской орбите.

Военное присутствие СССР описывалось через несколько направлений: советники, поставки вооружений, транспортная авиация, использование аэродромов и портов, а также регулярные заходы советских военно-морских, торговых, рыболовных и исследовательских судов в мозамбикские порты. По данным справки, в середине 1980-х годов в Мозамбике находилось около 800 советских военных советников. Документ также рассматривал возможность расширения советской военной помощи, поставок современного вооружения и, при ухудшении ситуации, привлечения кубинских боевых частей

Документ прямо фиксирует, что советские транспортные самолёты Ан часто использовали мозамбикские аэродромы, а с середины 1983 года два Ан-12 с советскими экипажами обеспечивали логистическую поддержку (могу подтвердить лично).

При этом в американской оценке чувствуется скепсис: Мозамбик был для СССР ценным, но проблемным активом. Режим ФРЕЛИМО был политически близок Москве, но страна была бедной, война разрушала коммуникации, экономика была слабой, а РЕНАМО продолжала создавать угрозу выживанию государства. Поэтому советское влияние было значительным, но не всесильным.



СССР не контролировал ситуацию полностью.

Американская логика была такая: Москва влияет, снабжает, советует, но не может волевым решением превратить Мозамбик в устойчивое социалистическое государство.

Что касается информации с нашей стороны, то из найденного позднее с военно-исторической стороны, могу предложить посмотреть [вот этот материал](#).

Ну и конечно у меня есть свой взгляд и мнение по этому поводу, о чем, собственно говоря, эта книга и написана. Она о Мозамбике тех лет, вернее его малой, но в значительно части экстремальной его части. Мозамбик был страной, которая пыталась жить между революционной риторикой, бедностью, войной и повседневным выживанием. После независимости власть находилась в руках ФРЕЛИМО, главной партией страны, объявившей курс на социалистическое строительство. Против неё воевала РЕНАМО, которую в официальной речи часто называли просто «бандитами». Это была гражданская война без понятной линии фронта: блокированные дороги, засады, перебои снабжения, страх перед поездкой за город, слухи, дырявые границы, беженцы, голод, и люди, для которых слово «завтра» не всегда было гарантированным будущим.



Каждый день официальная радио заставка перед новостями начиналась бодрими словами:

Do
Rovuma
ao
Maputo
-
uma
s
ó
na
çã
o

— «От Ровумы до Мапуту — одна нация». Тогда это воспринималось почти как заклинание: северная река Ровума на границе с Танзанией, столица Мапуту на юге, вся страна будто стягивается одной фразой в единое политическое тело. Бодрые мотивы доносились из простеньких мозамбикских радиоприемников —

Xirico

.



Но никакого единства нации, конечно, не было. Была карта, на которой это единство уже нарисовали. Были лозунги, где его уже провозгласили. Были газеты, которые писали так, будто оно давно состоялось. А в жизни между Ровумой и Мапуту лежали тысячи километров бедности, войны, страха своих маленьких миров и людей, которые часто не понимали не только, что делается в столице, но и в соседней деревне. Это была страна, где автомат Калашникова изображён прямо на государственном гербе. Редкий случай, когда символика не прячет реальность, а почти честно её предъявляет.

Там якобы строили социализм. Во всяком случае, так говорили в газетах, на собраниях и в официальных речах. Но человек на улице чаще всего не имел ни малейшего представления, что именно строят за его спиной. Его интересовало другое: есть ли сегодня еда, будет ли свет, можно ли достать мыло.

Газеты писали о революционной сознательности, борьбе, международной солидарности и зверствах врага. Иногда появлялись рассказы о каннибализме бандитов. Возможно, часть этих рассказов была правдой. Возможно, часть была военной пропагандой. Возможно, в той войне одно уже нельзя было до конца отделить одно от другого. Но в любом случае эти статьи

читались не в спокойной библиотеке, а в стране, где ночью было странно, если не стреляли, где солдат могли бить палками перед строем, где шаман предупреждал о штурме, где мыло становилось валютой, а сводки потерь включали строку «съедено крокодилами».

Советский человек приезжал туда с набором готовых представлений. О дружбе народов. О помощи молодым государствам. О социалистической ориентации. О прогрессивных силах. О братских армиях. О международном долге. Ну и, конечно, подзаработать. Всё это звучало правильно, пока они не сталкивались с конкретной жизнью.

А конкретная жизнь всегда сильнее формулы. Она пахла керосином, пылью, потом, фасолью с жучками, катчулимой, дешёвым виски, джутовым шпагатом, нищими и грязными казармами и сухой травой Ньясы.

Из этих осколков сознания и появилась эта книга как осмысление того, что было, но уже остывшей головой, попытка вспомнить, что происходит с человеком, когда он слишком рано и слишком близко сталкивается с чистым смыслом чужого языка и жизни — ещё до того, как этот смысл успели спрятать в приличные слова.

Почти одинаковые языки

«Сущность дела остаётся для нас чем-то посторонним;

главный же вопрос заключается в окладах и преимуществах, присвоенных должности».

М. Е. Салтыков-Щедрин

Здесь надо уточнить одну важную вещь, без которой многие дальнейшие истории выглядят неполно. Нас послали переводчиками португальского языка после трёх месяцев форсированной переподготовки с испанского.

Переход преподавали офицеры так называемого «Ускора», вернувшиеся из страны после годового курса и доучивавшихся остальные годы до полноценного диплома. Это было обучение из первых рук, очень близко к реальности, классное время без излишка теории и давления идеологи. Хотя не обошлось и без подрывов идеологических устоев – от них исходили разные байки подобные тем, как они вывезли обезьяну домой под плащом на руке, напоив ее водкой. О других историях применим фигуру умолчания.

Три мощных года испанского, конечно, давали фундамент. Фундамент был очень приличный: романская грамматика, латынь в подвале, знакомые корни, похожая логика фраз, привычка к артиклям, временам и прочей европейской роскоши. Но фундамент — это ещё не дом. Стены португальского следовало построить в рекордные сроки – «пяtilетку за три месяца».

Высшие чины объяснили это просто:

— Вам там помогут более опытные товарищи. Постепенно войдёте в курс дела.

Слово «постепенно» потом не раз всплывало в памяти. Как спасательный круг, набитый кирпичами. Очевидно, кто-то где-то опять ляпнулся с прогнозированием потребности в языках. Испанский есть, португальский нужен, людей нет, дыру затыкать надо. Заткнули нами. В советской системе это называлось решением кадрового вопроса.

На выездной комиссии генерал взял наши личные дела, посмотрел и спросил:

— Так они же испанский изучали?

Возникла пауза. Очень короткая, но показательная.

Помощник генерала быстро всё решил:

— Да это почти одинаковые языки, товарищ генерал.

Генерал подумал.

— А, ну тогда пусть едут.

Вот так испанский переводчик становится португальским переводчиком. Хотя, грех жаловаться – в ближайшем кругу у меня есть пример баснословно переучивание с амхарского языка на арабский!

Генерал, уже отпустив меня в Мозамбик с легкой руки помощника, вдруг решил придать происходящему военную ипостась, в чем он явно чувствовал себя увереннее чем в романо-германской филологии и спросил громовым голосом:

— А из БТР сходу они стреляли? Подготовка по гранатомётам есть? Нет? Вы куда их отправляете? На прогулку что ли?

Естественно, через день мы уже стояли с утра на полигоне Кантемировской дивизии. Была распутица, ветер. Грязь по колено. Та самая русская учебная грязь, из которой, вероятно, потом вырастает офицерская зрелость. Мы бросали гранаты из разбитого до такой степени окопа, куда граната вполне могла закатиться назад. Галочка в личном деле появилась. Родина могла спать спокойнее: переводчик португальского языка в случае необходимости умел хотя бы бросить гранату в правильную сторону. Один из курсовых офицеров, выпускник МосВОКУ, решил блеснуть перед салагами: прыгнул в БМП и решил показать класс. Правда не далеко

уехал – с ручника не снял, о чем ему бестолку кричал солдат-срочник. Расслабляет настоящих офицеров работа с гуманитариями!

Помощь «старшего товарища», который заранее, до моего приезда, уже с нетерпением прибыл в Мапуту, оставив старших товарищей на произвол судьбы, выглядела тоже скромно, но символично. Он оставил мне блокнотик реально интересных терминов: «оперативная разработка», «подстава» и прочие выражения, которые, возможно, должны были сразу ввести меня в тонкую ткань работы.

Вводили, конечно. Только не туда, куда обещали. Постепенное погружение оказалось выбрасыванием в омут с берега. Ну и ситуация, и обстоятельства ещё сверху как багром при- тапливали, чтобы быстрее погружался и не всплывал с лишними вопросами.

В первые двадцать четыре часа после прибытия в Мапуту автобус посольства возвращался с сеанса кино. В него лоб в лоб врезался мини-грузовик. Удар был такой, что мотор ушёл в кабину. В кабине сидел мозамбиканец, пьяный до посинения (если это можно буквально применить к негру), с обоссанными штанами. Появилась полиция. Потом ночной госпиталь, полицейское разбирательство, анализы крови, и естественно, перевод всего этого добра, которого в учебниках не водилось. Вот вам и обещанная постепенность. Португальский язык, видимо, решил не ждать, пока я войду в курс дела, и сразу вошёл в меня сам. Такой метод обучения трудно повторить в учебниках, но эффективность у него была чудовищная – на адреналине все запоминалось с первого раза и на всю оставшуюся жизнь.

А потом была Лишинга. Трудно себе представить первую неделю там, если не понимать этой предыстории. Совещание начальства пограничной бригады, провинциальных войск, схемы, кроки, штабы, планы взаимодействия, какие-то направления, роты, заставы, дороги, граница, противник, потери, снабжение, связь. Люди садятся за стол и начинают работать. У них война. У них нет времени думать, что у переводчика португальский язык три месяца назад ещё только строился из испанских кирпичей. Ну что они должны были сделать?

Сказать:

— Товарищи, переводчик новый, давайте говорить медленно, объяснять термины, повторять, делать паузы, а лучше вообще отменим совещание на месяц, пока он войдёт в курс дела?

Смешно? Ну вот и всё. Никто ничего не отменял. Никто не говорил медленно. Никто не делал педагогических скидок. Война не является языковым курсом с постепенным нарастанием сложности. Она сразу выдаёт тебе текст уровня С2, написанный кровью, страхом, картами, аббревиатурами, чужим произношением и необходимостью не ошибиться там, где ошибка может стоить дорого.

Зато работало это погружение страшно эффективно. Только форму после перевода можно было выжимать. Слово, услышанное в обычной аудитории, может вылететь через час. Слово, услышанное в штабе, где все смотрят на карту, а ты понимаешь, что сейчас через тебя пройдёт решение, остаётся навсегда. Термин, который ты один раз вытащил из чужой скороговорки и вставил в русскую фразу так, что тебя поняли, уже не забывается. Он входит не в словарь, а в нервную систему. Так я и переходил на португальский. Не по карточкам, не по диалогам «в аэропорту» и «в ресторане». Не по добрым упражнениям с ключами в конце учебника, а через аварию посольского автобуса, через пьяного водителя с мотором в кабине, через госпиталь, через полицейское разбирательство, через совещания, где на столе лежали кроки, а на лицах людей было написано, что им нужен не студент, а работающий переводчик прямо сейчас.

И только не спрашивайте меня, почему я не посмотрел нужное выражение «выезд на встречную полосу» или «в состоянии алкогольного опьянения тяжелой стадии» в смартфоне. Очень прошу. Не надо.

Потом мне по жизни ещё не раз пришлось переключаться между испанским и португальским. И не просто между двумя языками в академическом виде, а между их живыми разно-

видностями: два разных испанских, два разных португальских. Испанский, который звучит в Мадриде, не равен испанскому в Уругвае. Португальский Бразилии и португальский Африки тоже только теоретически считаются одним языком.

В конце концов именно эта многолетняя языковая чехарда и подтолкнула меня написать книгу «Дети Паганеля. Как перейти от испанского языка к португальскому». Не академический трактат о родстве романских языков, а практическую инструкцию для человека, которого жизнь внезапно перекидывает с одного берега на другой и говорит: Плыви! Жаль, что в тот момент такой книги не существовало. В Лишинге она мне бы пригодилась больше, чем блокнотик с терминами вроде «оперативная разработка» и «подстава».

Самолёт

Москва

—

Аден

—

Мапуту

All Animals Are Equal. But Some Animals Are More Equal Than Others.

*Все животные равны, но некоторые животные более равны чем другие. “
Джордж Оруэлл, книга «Скотный двор»*

Из Москвы мы вылетали летом, прилетали в Мозамбик в условную зиму. Это упрощало логистику, не нужно было тащить зимнюю одежду.

Была Москва, лето, духота, суета перед отъездом и гражданские костюмы, которые нам выдали как людям, временно превращённым из военных в почти штатских. Костюмы были из спец распределителя. Это звучит внушительно.

«Спецраспределитель» — словосочетание, от которого советский человек сразу начинал чувствовать веяния из жизни советской элиты. Там могло лежать всё: Микояновская колбаса из спецеха, импортная ветчина в банке, форма который была чужда советскому образу жизни, икра помимо кабачковой и восхитительный финской плавленый сыр «Виола». Нам вынужденно выдали оттуда импортные костюмы, рубашку, галстук и обувь. Не потому, что нас хотели избаловать, а потому, что советский человек за границей должен был выглядеть так, чтобы за него не было совсем уж стыдно, и чтобы никто не признал в тебе военного раньше времени.

В этих костюмах мы были похожи не на военных специалистов, а на делегацию молодых инженеров, которых случайно отправили не на выставку, а на гражданскую войну.

Перед вылетом был инструктаж. Инструктаж проводили люди серьёзные, из «Десятки» Генштаба. Они говорили уверенно, спокойно, с выражением лиц, на которых лежала большая государственная ответственность. Проблема была только в том, что они, кажется, не имели никакого понятия, куда именно мы едем.

Это выяснялось сразу же по прибытию. Они знали слово «Мозамбик». Знали, что страна дружественная. Знали, что там жарко. Знали, что надо вести себя достойно. Знали, что нельзя болтать лишнего. Это всё были важные знания. Но Мозамбик от этого не становился понятнее.

Нам объяснили, что обычной связи не будет. Совсем. Ни телефона, ни нормальной почты, ни человеческого «мама, я жив». В случае крайней необходимости можно будет отправить телеграмму на почтовый ящик Генерального штаба. Это звучало почти уютно. Почтовый ящик. Где-то в Москве, среди этажей, дверей, папок, дежурных офицеров и вечного запаха бумаги, существовал ящик, в который можно было теоретически отправить телеграмму в Африку.

Телеграмма должна была пройти через пространство, войну, тропики, бюрократию и какой-то вид военной связи.

Самолёт Москва — Аден — Мапуту казался не рейсом, а длинной географической шуткой. Большинство было военными, врачами, сотрудниками посольства, мозамбикскими офицерами, возвращающимися из военных училищ СССР. Заглянул одному из них, из училища ПВО, в открытую записную книжку: он там повторял закон Ома на уровне средней школы! Логичный состав, но мы также сидели в салоне с какими-то футболистами (те, кто их отправлял в Мозамбик, вероятно выжили из ума). Это, между прочим, очень распространённый способ управления миром людьми, не имеющими понятия чем они управляют.

В то время в самолетах разрешали курить – да-да, это было действительно так давно! И хотя места курильщиков вроде были отделены, это была периодическая душегубка в воздухе. Ну ни о каких видео-аудио развлечениях на борту тогда тоже ничего не знали. Разве что с борта посмотрели на ночной Каир.

В Адене самолёт открыл двери, и в салон вошёл свежий воздух. Не просто воздух, а целое государство запахов. Первый воздух за границей. Он пах морем, керосином, специями, паром, потом, раскалённым бетоном, чем-то сладким, чем-то рыбным, чем-то древним и чем-то таким, чему в русском языке не было названия. Может быть, оно и было, но в словарях для военных переводчиков его не давали.

Я тогда впервые понял, что есть запахи, которые не переводятся. Аденский залив дышал рядом, как большая сауна. Мы вышли в аэропорт и сразу почувствовали, что попали не за границу, а за край привычного мира.

Сотрудницы аэропортового дьюти фри были из такого мира: на руках у них, почти до локтей, были изысканные, тёмные узоры. Это была хна — временная краска из растения, которой на Востоке расписывают кожу вместо татуировок. Для меня это выглядело так, будто у них на руках эзотерические татуировки, только не буквами, а цветами, завитками и линиями. Мы смотрели на эти руки с тем уважительным недоумением, с каким советский человек смотрел на всё, что не было предусмотрено инструкцией.

Сотрудники посольства и торгпредства суетливо затоваривались электроникой, виски, коньяком. Оперировали при этом потусторонними предметами – зелеными бумажками, за которые в СССР еще совсем недавно могли и расстрелять. Они чувствовали себя элитой, с нами не пересекались. В будущем мы увидели эту деловую суету и толкотню подобных людей у корыта с этими бумажками, полученными за распродаваемые остатки Советского Союза.

Нам, «к счастью», никаких таких бумажек нам не дали. Трудно было бы представить, что было бы, если бы туалеты в аэропорту были бы платными или мы где-нибудь застряли при перелете по техническим причинам! (Мосье, же не манж па сис жур. Гебен зи мир битте этвас копек ауф дем штюк брод!). Но зато нам разрешили вывезти рубли, только 30 рублей и только десятками! Красные червонцы – «десятки», очевидно, имели некий сакральный смысл, там было написано что они обеспечиваются золотом! Некоторое расстройство, конечно, вызвало то, что в аэропорту не выстроилась менялы, кричащие «Камбио! Камбио! Рубли!». Ну и в дьюти-фри их почему-то не брали.

По талонам Аэрофлота в аэропорту нам дали по железной банке горького апельсинового сока – наверно давили со шкурками. Потом нас снова посадили в самолёт. Там была влажность. Влажность была как в бане. Из системы охлаждения самолёта пошёл и стелился пар. Настоящий белый пар. Он стелился по салону, как театральный туман перед выходом главного призрак. Кто-то нервно пошутил, что мы горим. Кто-то сказал, что если горим, то не надо открывать иллюминатор.

Самолёт взлетел. Дальше был сон. Я проснулся уже над Мозамбиком. И вот тут всё учебное, политическое, газетное, телевизионное, лекционное вдруг провалилось вниз, а вместо него появилась земля.

Настоящая. Внизу лежала саванна из школьных учебников по географии, где рядом обычно были сугубо теоретические слова наподобие - «баобаб», «антилопа» и «экваториальный климат». Нет. Там была настоящая саванна — местами рыжая, зелёные оазисы, с пятнами кустарника, с редкими деревьями, с тонкими тропинками, которые неизвестно куда вели и неизвестно откуда возвращались. Поднимались думы костров. Тонкие серые столбы дыма поднимались из земли так спокойно, будто война, бедность, история и политика были где-то далеко, а человек всё равно утром разжёт огонь, потому что без огня нельзя сварить еду.

И я увидел стадо жирафов. Сначала я решил, что это ошибка зрения. Потом понял, что ошибки зрения не ходят стадами. Они двигались вниз, медленно и нелепо, как существа, придуманные ребёнком, который ещё не знает, что животные должны быть устроены правдоподобно. Длинные шеи, тонкие ноги, пятна. Всё как в телевизоре. Только телевизор почему-то оказался под самолётом. Вот тогда меня и пробрало полным, физическим пониманием, что я больше не в рассказе о мире. Я внутри мира. Африка перестала быть страницей в книге. Она стала твердой землёй под крылом. Это был первый настоящий шок. Не последний, конечно. Но первый всегда работает лучше всех. У него ещё нет конкурентов.

Аэропорт Мапуту встретил нас пустотой. Пустота была большая, бедная и красноватая от пыли. На патио стоял один самолёт. Наш. Это производило странное впечатление. В Москве самолёты были как автобусы, только с крыльями. Здесь наш самолёт выглядел как событие государственного значения.

Мапуту встретил не жарой и это было хорошо. В Мозамбике была зима. Сухой период. После Адена воздух казался почти прохладным и опять пах по-другому. Не та Африка, которую показывали в советских передачах, где всё непременно плавится, дрожит и потные негрятки обмахиваются пальмовым листом. Здесь было сухо. Свет был более резкий чем в родных краях, потому что солнце висело более высоко. Тени были более короткие и все виделось в красных тонах – везде был налет красной пыли от необычной глазу краснокирпичной земли.

Багаж разгружали на наших глазах. Это успокаивало. Советский человек любил видеть свой багаж. Пока он видел свой багаж, он был спокоен. Чемоданы выгрузили, выгрузили на тележки, повезли в аэропорт. Потом тележки с багажом на несколько минут исчезли за какой-то пристройкой.

Всего на несколько минут. В мирное время несколько минут — это пустяк. В Африке гражданской войны несколько минут — это уже элемент биографии.

Когда багаж появился снова и выгруженные чемоданы вынесли в холл аэропорта, один из наших офицеров получил свой чемодан. Чемодан был на месте. Замки были на месте. Вид был почти приличный. Внутри лежал один носок. Один. Даже не пара. Это были сильные первые впечатления о стране.

У другого переводчика исчезли часы. Новые часы. Купленные перед отъездом как инвестиция в ценные активы. Они лежали сверху в чемодане.

Это была моя первая практическая встреча с местной реальностью. До этого у нас был учебник португальского языка, где люди спрашивали дорогу, ходили в ресторан, благодарили товарища и сообщали, что сегодня хорошая погода.

В учебнике никто не писал:

— Уважаемый товарищ, из моего чемодана исчезли часы.

Или:

— Простите, пожалуйста, почему в чемодане остался только один носок?

А зря. Такие фразы нужны в жизни гораздо чаще, чем кажется составителям учебников.

Потом мы заполняли иммиграционные карточки. Это была первая встреча с португальским языком. На бумажке были не только слова, но и неизвестные реалии. Выяснилось, что мы не военные переводчики. Мы - *cooperantes*. Кооперанты. Слово было странное, вызывало в памяти кооператив и пахло дружбой народов. В нём не было ничего о войне. *Cooperante* — это

человек, который сотрудничает. Очень мирная профессия. Мы сотрудничали с действительностью. Действительность была не против подбросить нам реалий к осмыслению. Она просто сразу начала брать своё в новом, дивном мире.

В холле аэропорта болтался маленький грязный ребёнок лет семи. Именно болтался. Не стоял, не сидел, не ждал родителей. Он был как часть аэропорта: пыль, стекло, сухой воздух, запах керосина и он. Маленький, худой, оборванный, с глазами, которые уже видели больше, чем положено человеку в семь лет.

Для меня это было столкновением с реальностью. Это была не газетная бедность, не статистика, не рассказ о трудностях развивающихся стран. А вот он. Рядом. Настоящий. Маленький. Грязный. Нищий. Он подошёл и что-то сказал. Мы не поняли.

Он повторил:

— Chupa-chups.

Слово прозвучало как пароль. Chupa-chups? Похоже на что-то абсолютно неприличное. Мы были готовы к словам *camarada, revolução, passaporte, fronteira, obrigado*. В крайнем случае — к слову *imperialismo*. Но к *chupa-chups* мы готовы не были.

Ребёнок просил леденец, о котором в СССР не имели понятия. Он знал это слово -а мы нет. Вот это было особенно обидно для военного переводчика. Ты летишь через полмира, чтобы переводить на португальский и с португальского, а первый местный ребёнок в аэропорту знает реалии лучше тебя.

Появился полицейский. Он не стал объяснять ребёнку международную обстановку. Он просто прогнал его. Движением руки. Ребёнок исчез так же естественно, как растворяется туман при восходе солнца.

Нас посадили в блестящие и комфортабельные автобусы открытого кузова грузовика.

Это была не машина, а сразу честное объяснение нашего положения в мире. Если легковой автомобиль ещё даёт человеку иллюзию частной жизни, то открытый кузов грузовика говорит прямо: ты груз, товарищ, но груз ценный, потому что в costume. Мы сели на лавки или на что там пришлось сесть, придерживая чемоданы и остатки достоинства. Грузовик тронулся. И сразу началось познание теории практикой, что движение здесь левостороннее. Тут надо объяснить одну вещь.

Человек может знать, что в стране левостороннее движение. Он может прочитать об этом заранее. Он может даже умно сказать:

— Да, конечно, историческое влияние британского региона, соседние страны, транспортная логика.

Но когда грузовик, в открытом кузове которого ты сидишь, выезжает туда, где, по мнению твоей нервной системы, должны ехать встречные грузовики, вся транспортная логика немедленно превращается в молитву.

Водитель ехал нервно, движение было хаотичным, пересечение перекрестков - приключением. Для него всё было правильно. Для меня же каждый поворот был попыткой самоубийства, выполненной с африканской неторопливостью. Навстречу попадались машины, грузовики, автобусы, люди, мотоциклы. Все они тоже знали основное правило, что нужно ехать слева, хотя в остальном были сомнения. Один я был дикарём, воспитанным правосторонним движением. Правила движения за десятки лет становятся рефлексом, от которого сразу не избавишься. Это означало, что, подходя к дороге, человек отворачивается от движения, тщательно пялится в другую сторону и шагает прямо под колеса входящему движению. В Мозамбике позднее минимум пару раз пришлось в последнюю секунду отталкиваться руками от проезжающего транспорта.

Вокруг мелькали вывески и надписи. Португальские слова внезапно сошли со страниц и поселились на стенах. Революционные надписи. И ещё одно слово почему-то особенно запомнилось:

«Confecção». Ателье по пошиву одежды. В стране, где военная форма была вместо Пьера Кардена, Ив Сен-Лорана и костюмов швейного объединения «Москвичка». Слово было мирное. Даже домашнее. В нём были иголки, ткань, женщины за машинками, школьная форма, рубашки, штаны. А вокруг была страна, где людям часто было не до рубашек, потому что надо было сначала дожить до вечера.

Так португальский язык начал становиться настоящим. Не тем, где «Мария идёт на рынок» и «Жуан читает газету». А тем, где ребёнок просит *chupa-chups*. Где в графе профессия ты пишешь *sooperante*. Где вывеска «Confecção» выглядит осколком прошлой жизни. Где чемодан может приехать пустым. Где один носок становится свидетелем эпохи строительства социализма. Мы ехали в костюмах по Мапуту в открытом кузове грузовика, как делегация случайно уцелевших манекенов из советского магазина «Берёзка» в финских костюмах и рубашках.

Город был сухой, усталый, местами даже красивый, но чаще обшарпанный. Он стоял у океана, но океан не делал его туристическим. На стенах жили лозунги. Улицы хранили португальскую колониальную геометрию, но жизнь уже давно шла не по линейке.

Поселили нас в месте, похожем на хлев. «Сорок девятка» - пересыльная база. Обшарпанный, грязный трёхэтажный домик, куда засунули в большой зал сразу десятки коек. Питания не было, нужно было в кредит за валюту взять продукты в кооперативе и трескать тушенку на коленке или делать макароны на собственной плитке, если она была. Иногда можно было попросить замороженный хлеб у местной части советских связистов. Солдат, в отличие от нас, даже кормили. Ну мы понимали, война, так война, кругом тяготы и лишения воинской службы, все в равных условиях. По крайней мере до тех пор, пока не стало ясно, что руководящие и не очень лица в Мапуту более равны чем другие и живут на виллах с видом на океан, в отелях или в весьма приличных квартирах. После этого появилось смутное ощущение, что обещанные тебе тяготы и лишения не были обусловлены на самом деле обстановкой, а отношением к тебе сверху. Ну да бог с ними, это же не в первый раз и не в последний.

А что, Лишингу ещё не взяли?
«L'autorité repose d'abord sur la raison.»

Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince
«Власть прежде всего должна опираться на разум.»

Антуан де Сент-Экзюпери, «Маленький принц»

При распределении нашей партии по точкам в Мозамбике произошла замечательная сцена. В советской жизни такие сцены потом становились внутренними мемами, хотя слова «мем» тогда не было.

Нас собрали в представительстве, и главный военный советник по стране начал распределять прибывших. Перед ним лежали списки. Он называл точки, рассказывал, кто куда поедет, что находится в том или ином гарнизоне, какая там обстановка, какие части, кто из советников, что с бытом, что со снабжением. Всё выглядело нормально, по-деловому. Мозамбик на бумаге вообще выглядел гораздо организованнее, чем в жизни. На бумаге у него были города, дороги, гарнизоны, должности, авиация, связь, линии снабжения. На бумаге страна держалась лучше, чем в реальности.

Он шёл по списку. Там-то у нас то-то. Здесь такая группа. В этом месте сложнее со снабжением. Здесь порт. Здесь провинциальный центр. Здесь надо усилить. Здесь уже есть товарищи. Здесь осторожнее с дорогами. Потом дошёл до моей позиции. Пальцем поводил по бумаге, замешкался, будто увидел ошибку в документе.

— Лишинга, — сказал он задумчиво.

Так, как будто сам впервые услышал это название. Потом наклонился к помощнику и спросил вполголоса:

— А что, Лишингу ещё не взяли?

Пауза. Помощник быстро нашелся.

— Да вроде нет, — сказал он.

Главный советник принял информацию к сведению.

— А, ну тогда езжайте.

И сразу перешёл дальше:

— Следующий пункт у нас Бейра. В Бейре у нас...

Вот, собственно, и вся кадровая философия момента. Город, в который тебя отправляют, существует где-то между двумя неопределёнными квантовыми состояниями: его, может быть, уже взяли, а может быть, ещё нет. Это надо уточнить у помощника. Если ещё не взяли — значит, годен к направлению специалиста. Если взяли — наверное, надо было бы подумать. Но, к счастью, вроде нет. Слово «вроде» в этой фразе было особенно прекрасно.

В нормальной мирной жизни «вроде» годится для погоды, автобуса, расписания магазина или состояния знакомого после вчерашнего выпитого. Вроде дождя не будет. Но когда речь идёт о городе, куда тебя отправляют работать, и вопрос звучит «его ещё не взяли?», слово «вроде» приобретает почти стратегический вес. Вот так я впервые получил представление о Лишинге на уровне знаний высшего руководства.

Иногда человеку достаточно одной фразы, чтобы понять устройство будущего. Всё последующее уже только расшифровывает её. В Лишинге потом действительно многое было именно таким: вроде держимся, вроде самолёт прилетит, вроде дорога ещё наша, вроде продуктов хватит, вроде малярия отпустила. Советская система любила категорические формулировки, но жила на «вроде». Вроде всё под контролем. Вроде товарищи помогут. Вроде португальский почти как испанский. Вроде гарнизон ещё не взяли. Вроде переводчик справится. И ведь справлялись. Иначе нельзя было. «Они русские и это много объясняет» (с).

В тот момент я, конечно, ещё не понимал, что эта короткая сцена станет одним из ключей ко всей дальнейшей истории. Тогда она показалась почти смешной. Ну спросил человек, ну уточнил, ну поехали дальше. Но потом, когда в Лишинге самолёт с провизией не прилетал месяца два, когда магазины вокруг продавали только туалетную бумагу и мотки джутовой верёвки, когда ночью всегда кто-то стрелял в темноте, когда донесения из дальних рот приходили как письма из другой эпохи, когда город жил между «ещё держимся» и «неизвестно что завтра», фраза возвращалась уже совсем иначе.

— А что, Лишингу ещё не взяли?

Для аппарата это была строка. Для меня — место, где я должен был жить. Для кого-то — дом. А для главного советника в тот момент — пункт в списке, по которому надо было быстро пройти, ибо неудобно и план собрания есть, потому что впереди ещё Бейра, Нампула, Тете, Пемба, другие фамилии, другие специалисты, другие «вроде». Наверное, так всегда и выглядит история сверху: палец на бумаге, короткий вопрос, ответ помощника, движение дальше.

А снизу эта же история выглядит иначе: дорога, самолёт, жара, коза на полосе, пустая квартира, пистолет под подушкой, люди, которые ждут, что ты уже умеешь переводить всё, потому что тебя прислали. И где-то между этими двумя уровнями человек впервые понимает, что его судьба может начаться с чужой фразы, сказанной почти между делом:

— А, ну тогда езжайте.

Зеленая, зеленая трава. Для козы на аэродроме

«Если что-то может пойти не так, оно пойдёт не так».

Закон Мёрфи

В Лишингу мы вылетали рано утром на Ан-12. В Мозамбике тогда летали наши Ан-12, и Ан-26. Машины были советские, родные по силуэту, давали ощущение территории родной страны.

Для фона ситуации: в предыдущем году в Пембе разбился Ан-26. Это была не абстрактная справка, а близкая реальность. Самолёт пытался вернуться после неисправности, на посадке ударился о полосу, завалился и загорелся. Погибли десятки людей, среди них, и советские члены экипажа. Поэтому в подсознании, каждый транспортник, садившийся в Лишинге, воспринимался чушь больше, чем просто рейсом. Он был ниткой, на которой держалась связь с большим миром. А нитки, как известно, рвутся.

Сначала меня разместили в грузовом отсеке. Там было даже удобно: я сел на груз из ящиков, затянутых строповочной сеткой. За сетку можно было держаться при необходимости, а необходимость в военно-транспортном самолёте — понятие не теоретическое. Грузовой отсек гудел, пах металлом, пылью, керосином и чем-то таким, что бывает только в самолётах, которые перевозят не пассажиров, а всё подряд: от провизии до оружия и раненых.

Перед взлётом экипаж посоветовался и, видимо, решил, что из-за меня одного лететь низко не стоит — не меня, а керосина жалко. Меня забрали в кабину пилотов. Это был почти первый класс, только без кресла с откидной спинкой и без меню с икрой. Зато кто-то из экипажа, то ли борттехник, то ли стюард-грузчик, напоил меня чаем. В условиях нашей жизни это было не хуже шампанского. Я сидел в кабине Ан-12, пил чай и чувствовал себя человеком, которого временно повысили до третьего пилота.

Перед уходом на маршрут сделали круг над городом и помахали крыльями. Такой был сигнал: кому надо — езжайте в аэропорт. В Лишинге связь иногда выглядела именно так. Не телефон, не диспетчер, не расписание, а самолёт над городом, который машет крыльями, как огромная железная птица с секретным шифром.

На посадке в Лишинге пилоты вдруг начали ругаться матом. Причина оказалась простая: коза на взлётной полосе. В авиационных наставлениях, наверное, есть много разделов: заход на посадку, уход на второй круг, отказ двигателя, боковой ветер, действия экипажа в особых случаях. Не знаю, был ли там отдельный пункт «коза на полосе в провинции Ньяса». Но жизнь быстро внесла поправку. Мы ушли на второй круг.

Сверху было видно, как какой-то оборванец прибежал за козой. За ним подоспели полицейские и стали охаживать его дубинками. Козу, насколько я помню, не били. Коза была животное, действовавшее в пределах своих интересов. Трава у полосы действительно была хорошая — сочная, зелёная. Нечего сказать, козе наверняка понравилось. Человек же, по местной логике, отвечал за то, что коза недостаточно уважала авиацию.

Сели со второго захода. На выгрузку приехали советники. Всё было деловито и без лишней романтики. Сразу подставили бочку под крыло и слили оттуда немного керосина. Солдатики забросили бочку в УАЗик. В стране, где горючее было почти валютой, самолёт привозил не только груз, но и возможность завести машину и заправить примус. Генератора по причине нежелания командования поддерживать слишком красивую жизнь советников не полагалось. Генераторы были лишь у каких-то изнеженных сотрудников ООН, противных англичан и прочих шведов.

Поехали домой — в новом понимании этого слова.

Квартира после конюшни «сорок девятки» выглядела дворцом: метров сто двадцать, высокие комнаты, пространство, эхо, десяток встроенных шкафов, заваленных мусором из старой жизни. Но пустая. Совсем пустая. Хоть шаром покати. В такой квартире не живут сразу — её сначала надо населить вещами, кухонными запахами, голосами жильцов. Пока там жили только эхо от шагов и привидения. В огромном зале был стол из тропической древесины и 4 стула. Еще какой-то захудалый диван у дальней стенки. В остальном пространстве можно было гонять мяч или играть в гольф. Только отсутствие меча и клюшек, а также разложенный в центре зала на газетках пулемет РП-46 останавливали от реализации этих буржуазных намерений.

Праздничный обед был достойный момента: борщ из павшей по праздничному поводу курицы и папайи на десерт. Папайю я пробовал впервые в жизни. Ожидал чего-то привычного, почти дынного, а получил вкус, к которому организм оказался не готов. Чуть не подавился. Папайя показалась мне немного тошнотворной. Потом я к ней привык, но первая встреча была неудачной. Так часто бывает с тропиками: сначала они не совпадают с твоим воображением, потом постепенно начинают воспитывать вкус.

После обеда старший советник начал задавать меня тестировать. Не торжественно, без объявления экзамена. Просто как бы между делом. Что это? А это? А вот это знаешь? Вопросы были не про португальский язык. Не про политическую обстановку. Не про историю ФРЕЛИМО. Он проверял более важную, с его точки зрения, часть моей пригодности к местной жизни.

На столе лежал пистолет.

— Что за пистолет?

— ПМ.

— Калибр?

— Девять миллиметров.

— Разберёшь?

— Разберу.

Разобрал, собрал.

— Ну на, бери!

Без всяких подписей, журналов учета и других бесполезных документов. Бери – не хочу. По пулемету вопросов не было, ну стоит и стоит.

Так Лишинга приняла меня в свою нормальность. Утром ты летишь в кабине Ан-12, пьёшь чай, самолёт уходит на второй круг из-за козы на полосе, потом тебе дают борщ из курицы, папайю, большую пустую квартиру и пистолет Макарова. А в центре зала пулемет ручной, 46 года выпуска. А дальше живи. Переводи. И привыкай. А что еще надо для полной жизни?

Червоточина длинной в жизнь

«Сердце человека обдумывает свой путь,

но Господь управляет шествием его».

Притчи 16:9

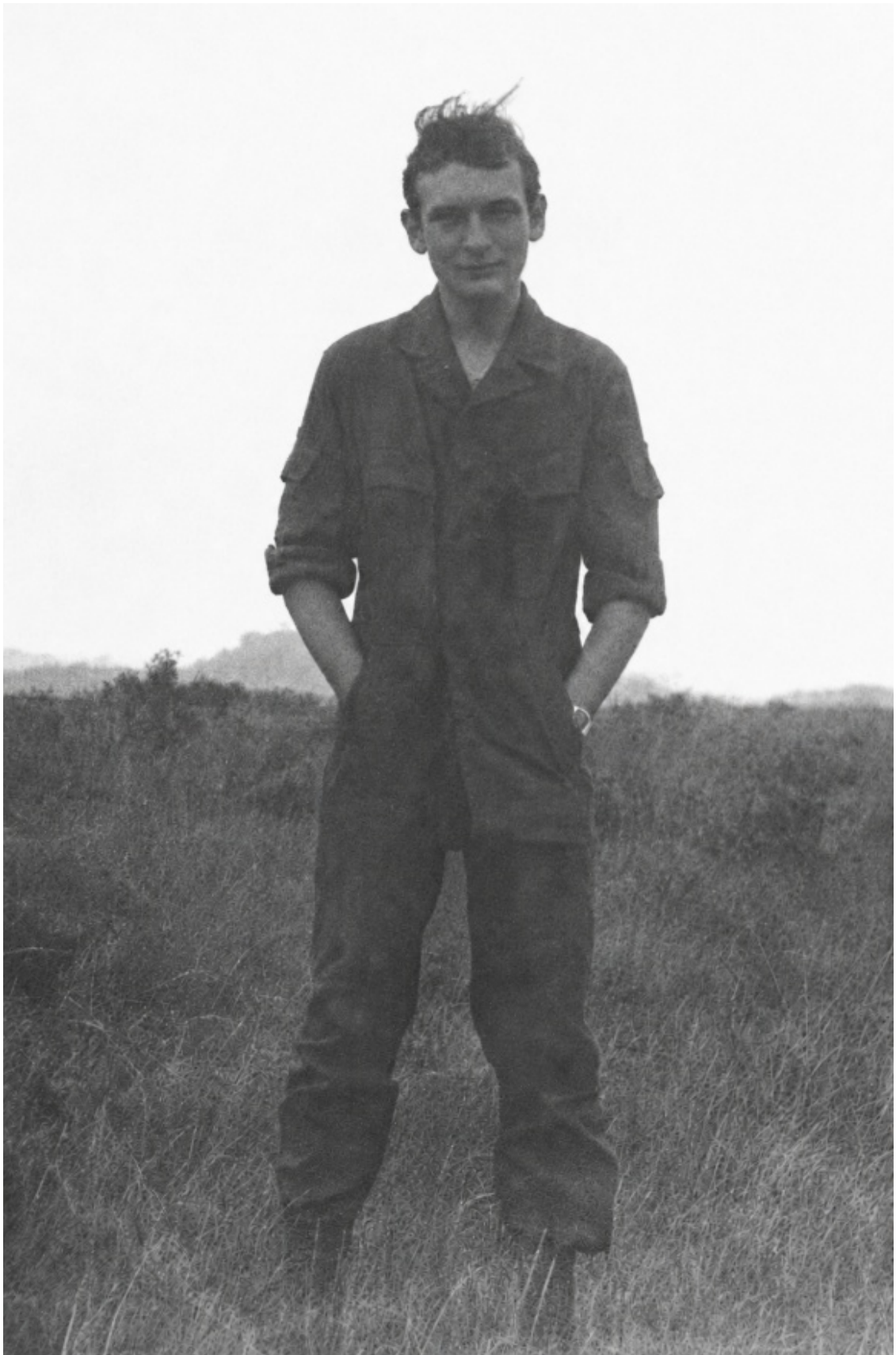
Моё попадание в Ньясу вообще заслуживает отдельного упоминания. Не как служебный факт, а как чистый финт той матрицы, в которой мы, возможно, живём и которую иногда сами неосторожно программируем сильной эмоцией.

Я учился в захудалой школе в рабочем посёлке. Такие места не любят красивых биографий. Там если не вырвешься — а вырывались единицы, почти статистическая погрешность, — путь был один: на заводы, на жуткие производства, которые не столько давали профессию, сколько медленно забирали здоровье. Абразивный. Метизный. Другие цеха с пылью, шумом, кислотой, железом, сменами, проходными и лицами людей, которые уже давно поняли, что жизнь не обязана быть шире заводской стены. Даже мясокомбинат считался почти элитным местом работы. Там, по крайней мере, была еда рядом с производством, что в советской табели о рангах значило очень много. Это не означало, что там не было по-человечески хороших учителей. Перед двумя учительницами просто снимаю шляпу. Подвижницы, несмотря ни на что пытались сделать все, что можно и нельзя. Годами ездили на работу через весь город на двух видах транспорта и еще и шли потом пешком, чтобы что-то изменить в этом мире. Господи, одна даже пыталась учить этих детей французскому языку! Я рисовал с ней плакаты для занятий - L'arc de triomphe de la Place de L'etoile. Какая-то извращенная издевка перед детьми этой школы и их будущим. В моем представлении Мать Тереза бледнела перед ними.

И вот в этой школе, в этом посёлке, на уроке географии в шестом классе случился эпизод, который почему-то прожесся в памяти до мельчайших деталей. Такую память обычно называют эйдетической — от греческого слова, связанного с образом. В быту говорят проще: фотографическая память. Хотя, строго говоря, настоящая «фотографическая память» — вещь спорная и редкая, а у большинства людей бывают скорее отдельные вспышки эйдетического воспоминания: не вся жизнь как плёнка, а один кадр, который почему-то сохранился с невозможной резкостью. У меня случилось именно это.

Я помню в мельчайших подробностях все... Кто сидел рядом. Что было за окном. Как падал свет. Каким голосом говорила учительница. Даже ощущение стола под руками. Урок был об Африке. О реках, озёрах, саваннах, пустынях, больших пространствах, которые в нашем рабочем посёлке звучали как названия созвездий. Стандартный советский учебник 6 класса. Затем пошел рассказ об озере Ньяса. Учительница без изысков пересказывала учебник: узкое, вытянутое, глубокое озеро в Восточной Африке. Карта. Показывала на синий длинный след воды на карте. Знание, которое для шестиклассников из рабочего пригорода не имеет никакого практического смысла.

И вот тут меня накрыло. Трудно теперь точно назвать это чувство. То ли злость. То ли отчаяние. То ли резкое ощущение бессмысленности происходящего. Может быть, это было откровением. Зачем людям в рабочем посёлке это озеро? Зачем нам Ньяса? Что вы городите? Что несёте? Им бы отсюда выбраться, не попасть на абразивный, не угробить лёгкие, не стать частью этой серой производственной судьбы. А нам рассказывают про далёкое озеро в Африке, которое никто из нас никогда не увидит, не потрогает, не поймёт и не вспомнит.



Я, конечно, ошибался. Именно его я и увидел в красках и цвете. Видимо, эмоция была настолько сильной, что в материи вселенной что-то сдвинулось. Прожгло червоточину. Или, если говорить языком школьной географии и фантастики одновременно, где-то между рабо-

чим посёлком и Восточной Африкой протянулась красная линия судьбы. Невидимый маршрут, который сначала выглядел как глупая строчка в учебнике, а потом через годы вывел меня почти к тем самым берегам. Человек думает, что он проходит мимо слов. Но иногда слова метят реальность и программируют будущее. Ньяса тогда была для меня просто странным звуком. Географической нелепостью. Синим пятном на карте, не имеющим отношения к жизни. А потом это слово стало провинцией, дорогой, бригадой, границей с Танзанией, разговорами о браконьерах, сводками, крокодилами, самолётами, голодом, керосином, португальским языком, черными лицами и моей собственной биографией.

За спиной - Ньяса

И вот что немного страшно: учительница, была права дала то, что необходимо. Она рассказывала не о бесполезном озере. Она называла координату будущего. В жизни я еще пытался увильнуть от предначертанного, но зря. Червоточина пробила все и всех, взяла за шкуру и забросил в эту далекую часть тела мира.

Осколки былой роскоши

«Понять чужое падение как падение могут только те,

кому самим есть откуда падать».

Даниил Андреев, «Роза Мира»

Лишинга была городом показательным: историческое представление «до» и «после». Яркая иллюстрация пост-колониализма. Колониализм удобнее всего ругать издалека. На правильном расстоянии он становится простым: вот угнетатели, вот угнетённые, вот освобождение, вот светлое будущее. На месте всё выглядело грязнее, сложнее и потому честнее.

Я видел два человеческих полюса одной и той же истории. Первый был старый, высохший, воспитанный ещё при португальцах старик. Как-то на узкой тропинке в Мапуту старик собирал крючком стручки гигантской акации. Увидев меня, он не просто отошёл в сторону. Он встал почти по стойке смирно. Передо мной стоял не человек, уступивший дорогу белому прохожему. Передо мной стояла целая эпоха, выдрессированная отступить.

На другом полюсе было поколение, родившееся уже после ухода португальцев. Там всё было наоборот: нарочитое фрондёрство, демонстративная независимость, иногда почти детское чувство превосходства над белыми. Мол, теперь мы вас уделали, теперь мы хозяева жизни. И это чувство можно было понять. Если тебя долго держали внизу, очень хочется однажды говорить сверху вниз. Даже если просто стоишь на табуретке.

Но с подходом нового хозяина жизни получалось не всегда красиво. Брошенные виллы Лишинги годами деградировали, превращаясь в хлев. Паркет мог пойти на растопку. Окна продавались за ненадобностью. То, что когда-то было продуманным домом, становилось складом случайных вещей и следов чужой победы над бытом. Остатки города говорили, что это действительно был когда-то райский уголок: виллы, каждая по индивидуальному проекту, дороги, выдержавшие десятилетия, пустые кондитерские и булочные за голым стеклянным фасадом, приличный, даже очень приличный кинотеатр, теперь уже немного дурно пахнущий и с вытертыми креслами из красного плюша.

Была электростанция на реке. Была дизельная напротив нашего дома. В ней мы тоже были. Там работал седой смотритель, ответственный, важный, по-своему торжественный человек. Он любовно протирал ветошью блестящие детали дизеля, который стоял без работы большую часть времени. В этом было что-то почти религиозное: механизм молчит, топлива нет, система не работает, но человек всё равно хранит остаток порядка, как икону. Не потому, что ему приказали. А потому что иначе совсем ничего не останется.

И вот тут возникает неприятная мысль, которую не любят ни бывшие колонизаторы, ни победители колонизаторов. Колониализм, конечно, зло. Но зло его не только в том, что одни люди строили хорошие дороги и красивые виллы, заставляя других людей чувствовать себя ниже. Зло глубже. Он создавал мир, где порядок был чужим, власть была чужой, знание было чужим, город был чужим, даже тропинка в каком-то смысле была чужой. А потом этот чужой порядок ушёл, оставив после себя здания, машины, кинотеатр и пустое место там, где должна была быть своя школа ответственности.

Старик на тропинке ещё жил в мире, где белому надо уступать не дорогу, а достоинство. Молодые уже жили в мире, где белому хотелось показать: теперь мы сами. Но между «уступить достоинство» и «стать хозяином» лежит огромная работа. Её нельзя провозгласить на митинге. Её нельзя получить вместе с флагом. Её надо выучить, выстрадать, наладить, передать детям, защитить от дураков, воров, войны, лени и красивых лозунгов.

Поэтому вопрос не в том, был ли колониализм хорош. Нет, не был. Вопрос больше: что он сделал с людьми, если после его ухода одним ещё хотелось становиться смирно, а другим казалось, что достаточно выгнать хозяина, чтобы автоматически стать хозяином самому.

Это не доказательство, что колониализм был полезен. Это доказательство, что историческое зло не уходит вместе с последним кораблём. Оно ещё долго живёт в позах, жестах, пустых зданиях, испорченной гордости и в той самой тропинке, где человек всё ещё пропускает белого автоматически и не задумываясь.

Что тут сказать? Не «при португальцах было лучше». А более сложное: португальцы ушли, но оставили после себя пустую форму порядка — дома без хозяина, дороги без системы, электростанции без топлива, города без прежнего смысла, людей с обидой и плохо переваренной свободой.

Папайя в контексте международного культурного обмена

«Если не можешь накормить сотню людей,

накорми одного».

Мать Тереза

В палисаднике у нашего дома в Лишинге росла папайя. Настоящая многометровая папайя на тонком стволе, похожая на ботаническое недоразумение из-за несоразмерного количества плодов. Ствол был узкий, гладкий и необычно высокий. Сверху торчала зелёная шапка листьев, а под ней висели гроздья папайи в промышленных масштабах.

Проблема была в том, что плоды висели высоко. Мы смотрели на них снизу, как люди смотрят на обещания светлого коммунистического будущего: красиво, но рукой не дотянешься.

Лестницы такой высоты не было. Да и опасно, переломишь ствол. Лезть самому было глупо. Во-первых, ствол гладкий. Во-вторых, высоко. В-третьих, если советский военный переводчик упадет смертью храбрых с папайи в провинции Ньяса, то это, конечно, войдет в историю международной помощи, но не украсит её.

Возле дома часто дежурил мальчуган лет восьми. Слово «дежурил» здесь почти точное. Его никто не назначал, не инструктировал, не ставил на пост. Но он появлялся регулярно и наблюдал за нами с таким вниманием, будто выполнял задание местного управления по изучению белых людей.

Маленький, худой, вечно сопливый, в одежде, которая давно перестала иметь возраст. Он смотрел на нас серьёзно и периодически держал палец во рту. Для него мы явно были существами из другого мира: говорили на странном языке, ели непонятную еду, все вооруженные, но, с другой стороны, не умели даже достать собственную папайю – совсем беспомощные. Последнее, видимо, окончательно подрывало наш авторитет.

Однажды я показал на дерево и спросил, может ли он залезть. Он посмотрел на меня с недоумением: примерно так смотрит городской человек, если его спросить, умеет ли он ездить на троллейбусе.

— Могу, — сказал он.

— Ну, залезай.

Он залез.

Не полез, не карабкался, не боролся со стволом. Просто поднялся так легко, будто папайя была горизонтальной. Мы стояли внизу и чувствовали себя представителями великой технической цивилизации, которая изобрела спутники, танки, атомные ледоколы и автомат Калашникова, но проиграла восьмилетнему сопливому мальчику в дисциплине «добывание фруктов».

Он снял одну папайю. Спустился. Потом ещё раз залез. Снял вторую. Потом третью. Работал спокойно, без лишних слов. Настоящий профессионал всегда молчалив. Мы решили его отблагодарить. Денег давать было странно. Нашлась конфета. Советская, из тех, которые были не просто сладостью, а маленьким произведением государственной культуры. Кажется, «Мишка на Севере» или «Мишка косолапый» — сейчас уже не поручусь. В любом случае это была конфета из лучшего наследия СССР: с фантиком, фольгой, классическим шоколадом, вафель, и лёгким привкусом инопланетной вещи.

Мы дали ему конфету. Ну дали и дали. Бог с ним. Он взял её и убежал в восторженных чувствах. Позже выяснилось, совершили серьёзную дипломатическую ошибку. Через час маль-

чишка, по всей вероятности, побежал хвастаться в школу. Через два часа перед нашим домом стояла демонстрация. Не митинг, не очередь и не случайная группа детей. Именно демонстрация. Прибежало, кажется, полшколы. Маленькие, босые, шумные, любопытные. Все хотели увидеть дом, дерево, белых людей и, главное, конфету, которая уже успела превратиться в местную легенду.

Слухи в Ньяссе распространялись быстрее транспорта. Транспорту мешало отсутствие горючего. Слухам не мешало ничего. Дети стояли перед домом, и ожидали чуда.

Конфет у нас столько не было. Даже Советский Союз в тот момент не располагал достаточным количеством «Мишек», чтобы обеспечить внезапные потребности школьников провинции Ньяса.

Положение становилось сложным. Мы не знали, что делать. Разогнать детей было нельзя. Раздать конфеты было невозможно. Объяснить экономическую ситуацию СССР и Мозамбика на доступном уровне — поздно. К счастью, прибежал учитель.

Он был взволнован, очень смущён и сразу начал извиняться. Он построил детей, отчитал их, увёл. Дети уходили неохотно. Им явно казалось, что история ещё не закончена и где-то в доме спрятан главный склад конфет.

Учитель задержался на минуту и снова извинился. Мы дали конфету и ему. Это было справедливо. Во-первых, он спас нас от детского восстания. Во-вторых, человек, который вернулся в школу половину школьников, заслуживает награды. В-третьих, советская дипломатия должна быть последовательной.

А папайя осталась стоять в палисаднике. Высокая, тонкая, полная плодов и совершенно равнодушная к тому, что только что стала причиной маленького кризиса международных отношений. С тех пор я понял: в Африке нельзя просто дать ребёнку конфету. Это не конфета. Это информационный повод для международного скандала.

Мотострелковый взвод в зимнем лесу

“No two languages are ever sufficiently similar to be considered as representing the same social reality.”

«Нет двух языков, настолько похожих, чтобы их можно было считать выражением одной и той же социальной реальности».

Эдвард Сепир

В моей квартире в Лишинге хранилось идеологическое оружие - узкоплёночный кинопроектор. Вместе с ним имелся набор фильмов: Красоты Советского Союза, Большой театр, Малый театр и, самое главное, учебные фильмы Министерства Обороны.

Телевидения в нашей жизни не было. Интернета тоже не было, и само слово тогда звучало бы как название болезни из фантастического рассказа. Кинотеатр в центре города существовал, но зависел от электричества, а электричество в Лишинге было существом ненадёжным. Поэтому проектор был не техникой, а окном в другую вселенную.

Периодически мне приходилось выполнять роль идеологического работника. Я натягивал экран, заправлял плёнку, возился с проектором, и к нам приходили офицеры бригады.

Они смотрели с большим интересом. Не вежливо, не для протокола, а по-настоящему. Обсуждали, спорили, галдели, задавали вопросы. Фильмы про театры вызывали искренний интерес. Балерины Большого театра, конечно, производили впечатление. Тут никакая идеология уже не требовалась. Человек может быть марксистом, шаманом, пограничником, разведчиком или начальником склада, но, если на экране балерина летит над сценой, он всё равно на секунду перестаёт быть начальником склада.

Но был у них один любимый фильм. Безоговорочно. «Мотострелковый взвод в наступлении». Они были готовы смотреть его десять раз подряд. Не потому, что их так интересовало наступление мотострелкового взвода. Наступления у них и своих хватало. Не потому, что они изучали построение боевого порядка или взаимодействие с бронетехникой. Нет, практический смысл в приложении к Африке отсутствовал. Дело было в зиме и потусторонним для них антураже.

Фильм был снят зимой, в лесу. На экране стояли ели в снежных шапках. Белый снег лежал на ветках, на земле, на броне. Без всякого преувеличения сказочный вид, к которому в России привыкли. Были и мы в таком лесу на уроках по тактике, изучали действия подразделения, которые в наше время были бы коллективным самоубийством. Из люка БМП выглядывал розовощёкий командир взвода в тёплом гермошлеме, и снег сыпался ему на лицо, пока он мчался вперед. Вот тут офицеры бригады млели от невиданной красоты момента. Просили на бис еще раз.

Я перематывал. Командир снова выглядывал из люка. Снег снова сыпался ему на лицо. Для них это было не учебное пособие, а сказка. Белая, холодная, невероятная. Война, где человек не потеет. Лес, где деревья стоят как будто покрытые белой глазурью. Машина, которая едет не по красной пыли и не по грязи после дождей, а по сверкающему снегу.

— Ему не холодно? — спрашивали они.

— Холодно, наверное.

— А он не потеет в шапке?

— Вряд ли.

— А снег больно падает на лицо?

— Нет. Он мягкий.

Снег, который падает с неба, казался им явлением из другой вселенной. Приходилось объяснять, что снежинки лёгкие. Что их можно поймать рукой. Что они тают. Что из снега

можно лепить. Что дети зимой играют во дворах. Что человек может упасть в сугроб и остаться жив. Но они думали, что это кусок льда из холодильника.

Иногда я чувствовал себя не переводчиком, а представителем инопланетной цивилизации. Я показывал людям снег, балет, московские театры, зимний лес, бронемашину в белой тишине — и всё это было для них частью одной загадочной страны, где люди живут на девятом этаже, спускаются под землю в метро, носят шапки и шубы и почему-то не ушибаются от снежинок.

Культуртрегерство оказалось занятием странным. Ты думаешь, что несёшь высокие идеи. А люди смотрят на снег и это для них основное. Мы думали, что показываем мощь армии. Они смотрели на снег. В этом и есть одна из самых странных форм непереводаемого: не слово, не выражение, не грамматическая конструкция, а сам порядок удивления. Я не мог до конца перевести снег человеку, который никогда не жил среди снега. Не мог перевести это детское оцепенение перед белым лесом, где для нас был обычный учебный фильм, а для них — почти чудо творения. Мы приносили один смысл: дисциплина, техника, наступление, организация боя. Они забирали другой: блестящие хлопья на лице командира, ели в белых шапках, холод, который можно увидеть, но нельзя представить кожей.

Так часто бывает с переводом. Ты уверен, что переносишь содержание, а на самом деле человек на другой стороне понимает лишь то, что совпало с его жизненным опытом. Для нас снег был фоном. Для них он был главным действующим лицом. И никакой словарь не предупреждает переводчика, что иногда непереводаемым оказывается не трудное слово, а чужая реальность, которая для них чужое чудо.

Сауна – Фауна

*“C’est une expérience éternelle que tout homme qui
a du pouvoir est porté à en abuser; il va jusqu’à ce qu’il trouve des limites.”*

«Вечный опыт показывает,

что всякий человек, обладающий властью,

склонен злоупотреблять ею;

он идёт до тех пор, пока не встретит пределов».

Шарль Монтескьё, «О духе законов»

Однажды советников вызвал начальник провинциальных войск. Бригадный генерал - высший военный начальник в регионе.

Это было странно уже само по себе. Он не входил в нашу прямую вертикаль подчинения, а в тех условиях вертикали жизненно важны. В стране шла война, а где война, там всегда несколько властей. Одна власть является формальной властью, а другая реально руководит военной властью. Между ними возможны недоступные нам опасные детали куда лучше не соваться.

А тут генерал прислал за нами свою машину. Это было почти неприлично. По местным меркам такая машина была не транспортом, а знаком. Если за тобой присылают генеральскую машину, это значит, что тебя либо очень уважают, либо уже начали готовить место в чьей-то неприятной истории. Мы ехали и гадали чем это кончится. Советники перебирали варианты. Что могло случиться? Жалоба? Конфликт? Просьба, которую нельзя выполнить? Попытка втянуть нас в местную борьбу? В окружённой провинции даже вежливое приглашение могло иметь зубы.

Кабинет у генерала был роскошный. Конечно, роскошный по меркам Лишинги. Не дворец, но в городе, где люди жили при керосиновых лампах и считали макароны событием, большой стол уже выглядел как геополитика.

Генерал встретил нас хорошо. Даже тепло. Напряжение стало медленно отпускать пальцы с горла. Он вспомнил Советский Союз. Оказалось, когда-то учился в Ленинграде на курсах. По-русски, правда, не знал почти ничего. Это была распространённая загадка международного образования. Человек мог провести месяцы в Советском Союзе, полюбить снег, метро, баню, котлеты или девушек на Невском, но из русского языка увезти только «здравствуйте», «хорошо» и «Ленинград».

Генерал говорил о Ленинграде с удовольствием. О холоде. О широкой реке. О белых ночах, которых, возможно, он толком не видел, но любил вспоминать. О курсах. Я переводил, все заулыбались, кивали. Всё шло нормально. Даже приятно. И тут он перешёл к делу.

— Помогите мне построить фауну, — сказал он.

Я перевёл внутри головы и остановился. Фауну? Животный мир? Начальник провинциальных войск хочет построить животный мир? В Мозамбике, конечно, многое было возможно, в задачу бригады входила борьба с браконьерами за слонами из Танзании. Но чтобы генерал вызвал советников и попросил помочь построить фауну — это было уже слишком широко даже для нашей международной помощи.

Я посмотрел на него, переспросил. Он смотрел на меня спокойно и уверенно. Советники посмотрели на меня. Вот это был плохой момент. У переводчика есть несколько профессио-

нальных грехов. Один из самых страшных — не понять простую фразу, которую все считают простой и вступить в собственный диалог не объясняя ничего советникам. В эту секунду окружающие начинают смотреть на тебя с гаммой нарастающих сомнений.

Я переспросил. Еще раз. Генерал повторил:

— Фауну.

Советники напряглись. Один чуть подался вперёд. Другой сделал лицо человека, который готовится услышать важный военный термин. Может быть, это какое-то сооружение? Может быть, местное название? Может быть, кодовое слово? Может быть, я действительно сломался? Я совершил смертный грех переводчика. Попросил объяснить на пальцах.

— Что это такое? Как выглядит? Для чего? Как-то наш любимый преподаватель военного перевода мягко издевался, когда мы не знали термина: - ну что, «uma coisa?» - то есть какая-то штука. Генерал удивился тупости переводчика но все-таки начал объяснять:

-Там жарко. Люди сидят потеют. Потом обливаются водой. Пар.Дерево. Очень полезно для здоровья. В России он видел. Очень понравилось.

И тут до меня дошло. Сауна! Он хотел построить сауну! Не фауну.

Кризис был пройден. Но ущерб уже нанесён. Советники расслабились, но не совсем. В их глазах читалось: ну что же ты, брат, если даже «сауну» не понял? Человек в Ленинграде был, русскую цивилизацию видел, всё объяснил, а ты тут со своим португальским. Я начал переводить уверенно, как будто с самого начала всё понимал, просто уточнял инженерные параметры.

— Речь идёт о сауне. Помещении с высокой температурой, деревянными скамьями, нагревом, паром. Генерал хочет построить такую же, как видел в Советском Союзе.

Советники ожили. Вот здесь они были специалистами. Сауна была безопасна. Сауна не была интригой. Сауна не была расколом между линиями власти. Сауна не требовала срочного доклада в Москву, хотя, если очень постараться, можно было бы и её оформить как объект военно-технического сотрудничества.

Генерал говорил всё более увлечённо. Он хотел именно такую, как там. Чтобы жарко. Чтобы пар. Чтобы сидеть. Чтобы потом выходить и чувствовать себя новым человеком. В Лишинге, где человек и так большую часть года чувствовал себя утомленным солнцем, идея сауны звучала немного парадоксально. Но желания, привезённые из далёких стран, редко подчиняются климату. Советники начали обсуждать доски, печь, камни, воду, вентиляцию.

Я переводил. Теперь уже легко. Хотя внутри меня ещё сидела эта проклятая фауна. Я представлял себе, как потом кто-нибудь расскажет: был у нас переводчик, хороший парень, но однажды не смог перевести генералу как построить баню. Это хуже, чем не перевести слово «наступление».

Ведь баня у русского человека одна из основ мироздания. Генерал был доволен. Мы были довольны тем, что нас не втянули в провинциальную борьбу за власть. Машина потом отвезла нас обратно. В дороге все уже с облегчением вспоминали визит. Как хорошо они все объяснили, какое различие между русской и финской бане в деталях. Как они были в этом вопросе компетентны и круты. Но вот только переводчик подвел – не врубился сразу в тему. Неопытный еще, но ничего, еще научиться как переводить фауну! Да и что нынешнее поколение понимаем в бане?

Алюминиевые огурцы на брезентовом поле

«Металл не принесёт плода,

Игра не стоит свеч, а результат – труда»,

Но я сажаю алюминиевые огурцы

На брезентовом поле

Виктор Цой

В нашей группе советников самой странной фигурой был советник по политической части. Не потому, что он был странным человеком. Как раз наоборот: он был очень понятным продуктом своей среды — твёрдый, правильный, партийный, с привычкой раскладывать жизнь по полкам, где каждая полка подписана, утверждена и имеет воспитательное значение.

Его задача звучала привычно: поставить работу по политическому и воспитательному направлению. В Советской армии это было делом известным. Были собрания, доклады, стенды, политинформации, боевой листок, ленинские комнаты, комсомольская активность, бойца и прочие формы организованного социалистического образа жизни.

В Лишинге всё это напоминало песню Цоя про алюминиевые огурцы на брезентовом поле. Поле было не то. Почва была не та. Климат был не тот. Да и огурцы, если честно, были тоже не вполне съедобные. Они уже начали портиться у себя дома. До краха Советского Союза оставалось всего три года.

Местные офицеры уважали всех советников. Это было видно. Они слушали, кивали, задавали вопросы, практически никогда не спорили. Но советская политическая работа в их мире не укоренялась. Она попадала не в землю, а в камень, пыль, войну, племенные связи, нехватку горючего, а дисциплина, временами выглядела так, что никакой советский политработник не мог подобрать к ней правильную статью из устава. Сначала он этого не принимал. Потом начал замечать. Потом, кажется, понял. И вот это понимание его беспокоило.

К круглым датам и важным событиям он готовил доклады. Сидел ночами, корпел над текстом, правил, переписывал, подбирал формулировки. Даже пытался плакаты рисовать привезенной из СССР гуашью, спрашивал у меня как писать заковыристую букву «G». Вид у него в такие вечера был приподнятый и творческий, как у человека, который пытается навести идеологический порядок в мире, не знаящем, что это такое.

Потом собирали аудиторию. Местные офицеры вежливо слушали. Доклад читался по-русски. Затем я переводил на португальский. Получалось двойное чтение: долгое, тяжёлое и для всех мучительное. Советник читал с чувством. Чувственная и пафосная часть диктора в программе «Время» в переводе исчезала. Аудитория слушала уважительно, но явно была не при делах. Не потому, что люди были глупые или невоспитанные. Просто между текстом и их жизнью лежало слишком много километров.

В докладе говорилось о сознательности, международной солидарности, исторической роли Великой Октябрьской, моральной стойкости и передовом опыте. В их жизни в это время было проще: как жить дальше.

Однажды я предложил ему читать доклад сразу на португальском. Без русского оригинала вслух.

— Зачем людям русская часть? — сказал я осторожно. — Я могу заранее перевести. Вы дадите мне текст, я сделаю португальский вариант, и на собрании прозвучит только он.

Он сначала посмотрел на меня подозрительно. В этом предложении было что-то опасное. Он как бы исчезал из ритуала. Доклад переставал быть священнодействием на языке пер-

воисточника и превращался в обычную речь для местной аудитории, зачитанную переводчиком. Но мысль была практичная. И вокруг уже веял ветер перемен, гласности, перестройки и прочего предательства. А практичность в Лишинге постепенно разъедала даже идеологию. Он согласился. Потом пошёл следующий этап разложения: он начал просить писать доклады меня на португальском по его заказу. Это уже было почти крушение системы. Не в масштабах марксизма-ленинизма, конечно, но в масштабах одной отдельно взятой советнической квартиры — вполне.

С точки зрения дела стало лучше. Я сразу писал текст так, чтобы его можно было произнести по-португальски перед мозамбикскими офицерами. Убирал тяжёлые советские обороты, сокращал лишнюю торжественность, добавлял понятные им примеры. Получалось всё равно официально, но хотя бы не так, будто приехал читать лекцию баобабу о березах.

Формально он курировал текст, всегда ритуально просил внести правку то там, то здесь. Но я видел: ему беспокойно. Профессиональная почва уходила из-под ног. Человек был обучен работать с одной армией, с одним языком символов, с одной моделью воспитания. А попал туда, где многое из его инструментария просто не включалось.

Окончательно, кажется, его надломил один эпизод. Провинившихся солдат били палками перед строем. Не где-то тайно, не в тёмном углу, не как безобразие, которое все стыдливо скрывают. Перед строем. Как дисциплинарную меру, понятную, привычную и, по местным представлениям, эффективную.

Для него это было не просто неприятно. Это разрушало профессиональную картину мира. Он мог говорить о воспитании, сознательности, убеждении, морально-политическом состоянии личного состава. Он мог объяснять, что солдат должен понимать свой долг. Он мог ссылаться на опыт Советской Армии, на роль коллектива, на командира как воспитателя.

А потом перед этим самым коллективом человека били палками.

И всё. Не находилось мостика. Не было методички. Не было цитаты, которая закрывала бы эту щель. Культурная и идеологическая пропасть стала в тот момент такой очевидной, что он как будто потерял ориентиры своей профессии и просто замолчал как профессионал. Иногда молчание честнее любого доклада.

После этого он стал другим. Не внешне — внешне он продолжал ходить на совещания, готовить мероприятия, говорить правильные слова. Но внутри, по-моему, он уже ждал окончания срока. Не трусливо, не лениво, а как человек, который понял: его отправили засеять поле, где не растут его семена. Он всё ещё был советником по политической части. Но Лишинга уже провела с ним свою политзанятие. Без плаката в красных тонах, президиума собрания, без перевода.

На их хрупких плечах держится мир

«Она встает ещё ночью

и раздаёт пищу в доме своём».

Притчи 31:15

В Мозамбике тех лет женщина была главным двигателем повседневной жизни. Не военные, не провинциальная администрация. Именно женщина. Она вставала рано, когда город ещё не до конца понимал, наступил день или просто закончилась ночь, и начинала работу, которая почти никогда не прекращалась.

Одним из самых характерных звуков был глухой ритмичный удар песта о ступу. Женщины мололи кукурузу в больших деревянных ступах. Не на мельнице, не на кухонном комбайне. Кукуруза, ступа, длинный деревянный пест размером с небольшое бревно, тонкие, но мускулистые руки час за часом делали одно и то же. Удар. Пауза. Удар. Ещё удар. Этот звук был частью страны. Он шёл из дворов, я слышал его из окна квартиры, из деревень, с окраин, из мест, где государство заканчивалось, а жизнь продолжала работать.

Потом женщина носили воду из ближайшего источника, до которого мог быть и километр и два, и три. Часто в больших жестяных банках на голове. Не маленькую бутылку, не ведёрко для полива цветов, а тяжёлую ёмкость, которую надо поставить на голову и идти так, будто это естественное продолжение тела. Спина прямая, шаг ровный, взгляд вперёд. Иногда на спине ещё ребёнок, привязанный с помощью капуланы — куска яркой ткани, который был одновременно одеждой, колыбелью, сумкой, одеялом, защитой и частью женского мира. Иногда это была простынь, полученная от советских кооперантов. В руках могли быть ещё какие-нибудь вещи. Потому что, если женщина уже идёт, значит, она несёт не одну задачу, а несколько.

Кроме воды — связки веток для огня. Без огня нет еды. Без еды нет дня. Ветки тоже на голове или на плече, иногда огромный пучок, который в нашем представлении должен был бы требовать хотя бы двух взрослых мужчин и перерыва на отдых. Там это не называлось спортом. Это называлось жизнью.

Сейчас это можно было бы описать как вечный и непрекращающийся спортзал. Только без зеркал, тренера, абонеента, музыки и права сказать: «Сегодня я устала, не пойду». Нагрузка была ежедневной, рабочей, безжалостной. Ноги, спина, шея, плечи, руки. Тело формировалось не ради красоты, а ради переноски воды, кукурузы, дров, ребёнка, белья, корзины, жизни. Часто таз у женщин казался зауженным, тело — вытянутым и жёстким от постоянной нагрузки. Не потому, что природа так задумала красивую линию, а потому, что труд годами лепил человека под себя. А потом рождались дети, как инопланетяне в Куско — с вытянутой головой.

Главной едой была у всех в то время была хита — по-mozамбикски густая каша из кукурузной муки, той, которую в ступе делали женщины. Примерно наша мамалыга, только ещё более базовая, ежедневная, почти сакральная по своей роли. Произносится примерно «ши́ма». Её варили из воды и кукурузной муки до плотного состояния, так что это была уже не каша в русском смысле, а желтоватая густая масса, которая заменяла все — и завтрак, и обед, и ужин. Конечно, если хватало на три приема пищи, что совсем не гарантировалась.

В благополучной стране еда имеет различный вкус, рецепты, семейные варианты. В бедной воюющей стране еда прежде всего отвечает на вопрос: будешь ли жив. Хита позволяла выжить. Съел — можешь прожить ещё один день. Это была еда не для удовольствия, а для продолжения человека.

И вот когда смотришь на это со стороны — женщина молотит кукурузу, потом несёт воду, потом дрова, потом ребёнка, потом снова готовит, снова стирает, снова идёт, — начинаешь иначе понимать слово «труд». Мы привыкли думать о труде как о части жизни. Там труд был не местом за столом или станком на восемь часов. Он был эквивалентом всей жизни. Он начинался вместе с открытием глаз утром, и их закрытием ночью. А посередине – только работа.

Мужчины воевали, командовали, сидели в штабах, где-то, конечно, подрабатывали, часто валяли дурака с радиоприемником Широко в руках. А женщины держали на себе все: воду, огонь, муку, ребёнка, бельё, еду, дом. Без них никакая революция, никакая армия, никакая международная помощь и никакая хiма не состоялись бы даже до обеда. Многие мужчины в Мозамбике жили в аду. Но для женщин в нем был еще один этаж ниже.

Весь этот джаз

«Никто не слушает. Значит, слушать придётся тебе».

Джеймс Болдуин, «Блюз Сонни

Заместитель командира бригады по тылу был большой, как медведь. В Голливуде был или есть такой актер, помню его по фильму Армагеддон с Брюсом Уиллисом.

Не толстый, не рыхлый, а именно большой. Широкий, тяжёлый, молчаливый. Такие люди в армии обычно отвечают за вещи, без которых всё немедленно разваливается: горючее, крупу, ботинки, бочки, ящики и прочую прозу войны.

Война вообще состоит не из героизма, а из того, что кому-то вовремя не привезли бензин.

Он был замкнутый. Почти угрюмый. Держался отдельно. Не шутил, не галдел, не любил долгих разговоров. На совещаниях говорил мало, но, когда говорил, все слушали. Потому что тыловик в окружённом городе — это человек, который лучше других знает, сколько ещё продержится жизнь.

И вдруг он пригласил меня в гости. Я насторожился. В Лишинге приглашение в гости могло означать всё что угодно, не угадаешь поскольку ситуация не располагала к простым развлекательным визитам в нормальном мире.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.